

# ИРИНА КУНИНА

## Фуга “Крлежиана 2”<sup>1</sup>

[254]

ИЛ 10/2019

Глава из книги “Век мой, зверь мой”

Ирина Кунина родилась в 1900 году в Петербурге в семье юриста. Начинаящая поэтесса встречалась с Блоком, Гумилевым, Замятиным, Зощенко, Стеничем... В 1918 году она с семьей уехала в Киев, а оттуда попала в эмиграцию. После четырех лет, проведенных в Загребе, Ирина Кунина вернулась в Советский Союз. На родине она опубликовала роман “Дуглас Твед, жизнь и достижения” (“Земля и фабрика”, 1925), писала киносценарии (самый известный из них — “Мишки против Юденича”, режиссеры Г. Козинцев и Л. Трауберг, 1926), снималась в кино, работала репортером “Ленинградской правды”. В 1926 году Ирина Кунина вышла замуж за Божидара Александера, адвоката из известной семьи хорватских промышленников, и вернулась в Загреб. В доме Божидара и Ирины Александер собирались художники, писатели и политики с левым уклоном, и эти собрания оказали большое влияние на культурную жизнь Хорватии и Югославии. В 1941 году Божидар и Ирина Александер бежали из Хорватии, после чего Божидар работал в аппарате ООН в Нью-Йорке, а с 1955 года — в ЮНЕСКО в Париже.

Ирина Кунина оставила след и в западной культуре: роман “Набегающая волна” (о Валентине Орликовой) вышел в переводе на английский (“The Running Tide”, 1943), о ней писала Ребекка Уэст в своих знаменитых путевых очерках “Черный ягненок и серый сокол”. Ирина Кунина встречалась со Стефаном Цвейгом, дружила с Анаис Нин и Генри Миллером. Умерла она в 2002 году в Женеве.

После смерти Ирины Александер хорватская русистка Ирена Лукшич подготовила и опубликовала две ее книги: “Все жизни одной любви” (2003) — мемуары писательницы и “Только факты, пожалуйста!” (2007) — сборник, состоящий из перевода романа “Только факты, сэр!” и опубликованных в Америке статей и рассказов военных лет. В сборник вошли также письма Ирины Александер, Мирослава Крлежи и других, запись интервью с Ириной Александер из документального фильма о ней (1999).

В конце зимы 1936 года на моем письменном столе зазвонил телефон.

— Могу я говорить с госпожой Александер?

— Я у телефона.

— Говорит Крлежа.

— Какой Крлежа?

— Сколько Крлежей вы знаете?

— Ни одного, а подавно, к сожалению, того, которого хотела бы знать. Глупый ответ, конечно, от неожиданности.

— Почему это так неожиданно для вас, смею ли знать?

— Смеете, тем более что уже спросили, значит, и вы способны растеряться и говорить не то, что хотели бы. Почему неожиданно? Всё и все были против нашего знакомства: общие друзья, переносившие вымыслы, или попросту — сплетни, от вас к нам и, наверное, от нас к вам, ваши предубеждения против нас — левонастроенных представителей высшей в нашем маленьком масштабе буржуазии: несправедливые и даже недостойные вашего ума высказывания обо мне в печати...

Он перебил меня:

— Не надо! Каюсь, и не потому, что вы мне нужны, а потому, что в глубине души давно хотел познакомиться с вами, но ни один мост на моей дороге не вел к вам. Даже подумывал, как бы его перебросить? Мне нужна ваша помощь — идея не моя, признаюсь, а Белы.

— Даже если б вы сказали, что идея была ваша и вы еле настояли на Белином согласии, я не поверила бы. Вы слишком умны, чтобы это не понять.

— Не так уж умен, как вы думаете, особенно в житейских делах, вернее — в женских. Когда я могу к вам зайти? Если вы можете забыть мои нападки и не упоминать о них... Я готов опуститься перед вами на одно колено — на оба не могу из-за ишиаса — и покорно просить прощения.

— Когда хотите, и без коленопреклонения, — нападки в "Данас"<sup>1</sup> забыты, начинается Завтра. Сознаюсь, я давно хочу познакомиться с вами.

— Не скрою, что и мне этого давно хочется, но побаивался, честно говоря, несмотря ни на что — не спрашивайте "на что", потому что я и сам не знаю, чего в данном случае боюсь. А раз вы мне любезно предложили в любой час, или, вернее, день, то, ввиду неотложности моего дела, я готов прийти сегодня же, скажем — через час. Можно?

1. "Данас" ("Сегодня") — литературно-общественный журнал.

— Можно, конечно, и даже раньше, если хотите. Продолжать то, что я делала до вашего звонка, сегодня я уже не способна.

— Тогда через полчаса. Кстати, запишите в календаре — он у вас, наверное, есть и лежит на письменном столе — день и час нашей с вами исторической встречи, наперекор всем и всему — для наших будущих биографов.

Если кто-нибудь осмелится удивиться этой почти стенографической точности разговора, состоявшегося сорок пять лет тому назад, заверяю скептиков, что память у меня, как скупой рыцарь: не растает со своей казной, и никакая поклажа, а особенно драгоценная, ей не в тягость. А Крлежа, несмотря на нередкие трудности в наших отношениях, был ценным грузом. Ожидая его в тот день, я думала: пусть он несправедлив, пусть еще недавно хлестнул меня в "Данасе" блестящими и злыми остротами, из-за которых весь Загреб норовил лезть ко мне с елейными соболезнованиями. В одной статье назвал меня "четвертым направлением социальной литературы", не объяснив, какие и где кроются три остальные. Его зубоскальство хорошо проиллюстрировал случай, происшедший вскоре после нашего знакомства. Входит Крлежа к нам и с места в карьер, в воинственном тоне: "Представь себе, Боксо (так он в радушном настроении называл Божидара), сижу я в кафе Корее, подходит доктор Эдо Дайч, я предлагаю: "Садись, Эдо, выпьем коньячку, у меня сегодня дождь и туман в душе, скука!" — "Спасибо, не хочется". — "Как это вдруг — не хочется?" — удивляюсь, настаиваю. И Эдо наконец объясняет: "У нас сегодня Йом-Кипшур, пост... ты знаешь, я не верующий, но..." — "Ничего я не знаю, и не пытайся объяснять. Если б я, католик, сказал тебе, коммунисту: 'Эдо, я сегодня не пью и не ем потому, что страстная пятница', ты набросился бы на меня, и я узнал бы о себе все то страшное, что коммунист, отступившийся на шаг от партийных заповедей, может узнать о себе. Что он реакционная сволочь, мать изнасиловал, жену предал, сына в Сибирь загнал и тому подобное. А коммунисты-евреи в кармане держат отпускную своих прегрешений. Наизусть ее знаю, так она стереотипна: 'Покойной матери обещал — на смертном одре просила'".

Не знаю, чем кончился их спор в тот день крлежианской хандры и душевного дождя, но Эдо Дайч во время Второй мировой пал в бою в рядах партизанской армии, прославившись храбростью воина и самоотверженностью военного врача...

Крлежа задолго до нашего знакомства раза два-три приходил на мои лекции, ни разу не сел, слушал, стоя в глубине за-

ла, неподалеку от двери, чтобы бежать, должно быть, когда наскучит. Не сбежал ни разу, но и не выразил никаких чувств: ни одобрения, ни хулы — ни вслух, ни в печати. Раз видела, как пожал плечом, качнул головой и вышел, не оглянувшись. Я провожала глазами эту мешковатую, необъяснимо чем привлекательную фигуру. Он походил на медведя, но с легкими движениями. Ни дать ни взять — изящный медведь. Из людей, упорно не допускавших нашего знакомства, самую странную роль — упрямо, годами — играл Крсто Хегедушич<sup>1</sup>, проводивший с нами больше половины вечеров в те годы, до своей женитьбы. Якобы “обиженный за вас”, он повторял Крлежины или Белины пересуды о нас. Но мы так любили его и верили ему, особенно Божидар, что вряд ли хоть раз усомнились в правдивости его слов. Что он говорил от нашего имени у Крлежей, не было ни возможности, ни охоты узнавать.

Можно много передумать за полчаса ожидания. Почему я сказала Крлеже, что ни минуты не сомневалась, что звонил он мне не по собственной инициативе, а по Белиной? Потому, что мы нередко встречались с ней в разных общественных местах, обменивались притворно-безразличными взглядами, и я знала, что ей хотелось познакомиться с нами. Конечно, и мне с ней, хотя как актрису я ее не любила ни в одной роли, кроме комедий Нушича, где она играла самое себя. У нее были умные, недобрые глаза того голубого оттенка, от которого несет холодком. Говорили, что она хорошо читала стихи Крлежы, и этот успех у друзей навел ее на мысль бросить сначала учительскую должность, потом карьеру библиотекарши, чтобы посвятить себя театру. Или вернее, как большинство жен драматургов, — театр себе. Итак, мы знали друг друга и еще больше друг о друге, но ни одна из нас не сделала и шажка, чтобы познакомиться. Воздавая должное ее уму, скажу, что мысль использовать Крлежу в качестве моста между нами значила: бить наверняка. Когда необходимость помочь непутевому другу мучила его, она в душе, должно быть, воскликнула: “Эврика!” — и тут же небрежно бросила: “Позвони Ирине Александер!” — “Я?! — вероятно, изумленно, даже ошеломленно, вскрикнул Крлежа. — Да я ее не знаю! Ты с ума сошла! Только что, можно сказать, издевался над ней под собственной подписью, а сегодня пойду ей звонить”. Я слышу насту-

1. Крсто Хегедушич (1901–1975) — талантливый художник, один из основателей прославившейся группы “Земля”, основоположник хорватской школы наивной живописи, чье влияние захватило не только Югославию, но и весь мир.

пившее в их доме молчание. Бела хорошо знает Крлежу, несравненно лучше, чем он ее: настаивать нельзя. Надо дать ему переварить это предложение. А что Ирина Александер не откажется принять Крлежу, сомнений у нее не было. “Дай мне ее телефон”. — “Их телефон: 62-47”. — “Откуда ты знаешь?” — “Из телефонной книги. Поискала”. Вместо того чтобы спросить: “Когда?”, он еще раз в жизни подумал о Белиной “умной сербской голове”. И вот Мирослав Крлежа сидит передо мной, всей тяжестью своего медвежьего туловища уйдя в кресло, — обаятельная натура, совсем не серая, не туманная, как все происходящее в его книгах, напротив, сидит с почти солнечной улыбкой и пристальным ласкающим взором красивых темных глаз. Мы оба молчим и оба выжидательно улыбаемся. Он начинает довольно неожиданно:

— Вы знаете начало третьей канцоны “Ада”?

“Per me si va nella citta dolente

Per me si va nell’eterno dolore:

Per me si va tra la perduta gente”.

Почему такое нескрываемое удивление в ваших глазах?

— Чтобы не показаться вам образованнее, чем я есть на самом деле, объясню правдиво: в оригинале я прочитала Данте впервые совсем недавно. Несколько месяцев тому назад решила брать уроки итальянского языка у профессора Деановича. Мне с молодости полюбился итальянский язык, поэзия, особенно футуристы. Революция прервала мои занятия после восьмого урока. Сначала мы с профессором Лоренцони (он преподавал в петербургском университете) читали Унгаретти, которого очень полюбила, потом увлеклась Умберто Саба, Маринетти, Палаццески.

— Маринетти — фашист.

— Когда я училась итальянскому языку, фашистов еще не было.

— А зачем вы носите очки? Кокетство интеллигентствующей дамы?

— Почему интеллигентствующей? Вы несправедливы. Очки — моя попытка самозащиты, потому что они мне нужны только для чтения: косит правый глаз. Считайте их полумаской, если хотите.

— А зачем она вам нужна?

— Чтобы выключить ток взаимодействия двух заклинателей змей.

Не стану повторять всех подробностей нашего словесного поединка — из моей теперешней перспективы недопустимо умильного или умильно-кокетливого (ведь оглядывается назад не тридцатипятилетняя уверенная в себе женщина).

Господи! Крлежи больше нет! Крлежа — еще не остывший труп, когда я пишу эти страницы, чтобы не отпустить его в безвозвратное, пока еще не поверила в то, что никогда его больше не будет. И хотя под конец жизни мы стали чужды друг другу — для меня Загреб умер (Божидар, к счастью для него, до этого дня не дожил) в тот декабрьский день 1981 года, когда Вилим Свечняк — художник, член “Земли”, свидетель наших лучших лет, — позвонил рано утром и сказал: “Ирина, в час ночи его не стало...”. Только что торжественно убранный и положенный в землю труп замечательного человека, которого надо было знать, чтобы всей силой сердца чередовать восхищение, любовь, ненависть, чтобы навсегда отношения с ним остались в памяти, как тот первый детский калейдоскоп — незабываемое зрелище пестрых осколков всех видов, форм и красок. Один только актер сошел со сцены, а вся пьеса утерьяла смысл.

— Прежде, чем мы перейдем к цели вашего, не скрою, радующего меня визита, расскажу вам забавный случай из нашего далекого общего прошлого. Ведь у нас с вами не только завтра и “Данас”, но и прошлое есть. — Он посмотрел на меня удивленно, поднял брови, что портило его лицо: брови были у него какие-то неумные — кругло поднимающиеся горизонтальные скобки. Он выжидательно молчал. — В 1925 году во время вашей “Поездки в Россию” я была сотрудницей “Ленинградской правды” — рецензенткой кино, репортером, так называемой “прислугой за все”. И вот звонит мне редактор: “Вы, Кунина, у нас одна знающая сербский язык. Мчитесь немедленно в ‘Европейскую’ интервьюировать Крлежу”. — “Простите, товарищ редактор, но мое знание сербохорватского языка мне никак не поможет интервьюировать Крлежу. К сожалению, должна вас просить освободить меня от этого задания”. — “Почему, смею ли знать?” — “Я уверена, что покажусь ему подозрительной личностью тем хотя бы, что знаю его язык”.

— И несомненно показались бы, — улыбнулся Крлежа как-то удивительно ласково.

— Я даже запомнила свой аргумент. “Он спустит меня с лестницы и будет кричать вдогонку: ‘Чекистка!’ — или подумает, что я послана загребской полицией, и еще пуще рассердится”. Угадала?

— Угадали. Моя жена будет смеяться, когда я расскажу ей, как вы меня боялись.

— Любая жена, не только ваша, вероятно, и я, не смеется такому рассказу, а сердится, обижается, в лучшем случае с нескрываемой иронией: “А, старик уже влюбился?!” , даже если “старик”, вам, например, не больше сорока лет... нет, немного больше: сорок три!

— Откуда вы знаете?

— Вы спросили бы меня, откуда я знаю, в каком веке жил Бальзак?

— Спасибо за комплимент. Не преувеличенный ли?

— Конечно, преувеличенный, но у каждой страны бальзаки по карману.

— За этот комплимент не благодарю, даже немного обижен. Перейдем-ка лучше к делу, пока вы еще не сказали, что я Бальзак из Бабинэ Гредэ<sup>1</sup>, и тогда мое дело к вам погибло, а дело серьезное. Речь о спасении умного, культурного, но совершенно непутевого человека. Беспробудного пьяницы, который, когда спиртного больше нет, в воду бросается, вот уже в третий раз, очевидно, чтобы хоть какой-нибудь жидкости наглотаться. Вчера он снова кончал самоубийством, снова неудачно, и снова в озере Максимирского парка. А там, как назло, нередко появляются полицейские — блюстители нравственности нашей молодежи, и теперь спасенный утопленник валяется на своем чердаке, прозябший, больной, голодный, да еще к тому же и голый — вся его и так рваная одежда разорвана в клочья пиками и веслами, которыми его вытаскивали, — одни лохмотья остались. Впрочем, еду я ему отнес — Бела собрала, а от себя добавил взбучку, от которой ему легче и теплее не стало. Лежит этот умнейший болван в своей чердачной конуре под рваным одеялом, голый, как мать родила. Надо его одеть. Ну просто болван и тряпка, и забудыга, но культурнейший человек. Он лебедам в лунные ночи латинские оды читает — зачаровал их! — как на корм к нему подплывают — я это своими глазами видел! — он водил меня на свое лебединое свидание. Вытянув шею, слушали. Большой латинист, отлично переводит, поэт к тому же! Хотелось бы мне знать, из-за кого он себя губит, а спросить не могу. Но причина должна быть.

— Какой он национальности?

— Эстонец. Как он попал сюда, понятия не имею — у него вся жизнь под замком. Но он стоит наших с вами усилий, уж хотя бы потому, что поэт. Некогда существовали дороги рома, пряностей, шелка, а его дорога менее экзотическая — все пьет: от сивухи до нашей кляковачи<sup>2</sup>. Максимирское романтическое озеро с белокрылыми поклонниками латинских поэтов он облюбовал как место своего вечного упокоения — очень, говорит, ему лебединая белизна на этой чернильной кляксе озера нравится.

1. Бабыя Гряда — как наша Тьмутаракань, захолустье.

2. Самодельная водка, самогон.

Я уже обдумывала практическую сторону предстоящей мне задачи: Хельми!

— Хорошо, что эстонец. Жена младшего шурина — эстонка, никогда и никого в семье ни о чем не просившая, а я уже всем надоела со своими художниками, беженцами, безработным столяром с большой семьей... Сегодня же завербую Хельми — спасти соотечественника. Наверное, согласится. Можете вы мне дать его меры, хоть приблизительно?

Крлежа засмеялся:

— Вы что, женить его решили, нарядить жениха? Роста среднего, худобы выше средней, возраста среднего — в общем, весь средний, кроме ума и культуры. На вид: святой или нищий, а то нищий святой. Самое нужное! — много ему давать нельзя: пропьет. Впрочем, Бела или вы можете хранить излишек до следующего самоубийства. — Он поднялся, взял мою руку, потом вдруг церемонно склонился и поцеловал ее.

— Если Бела Крлежа спросит вас, удалось ли вам очаровать меня, скажите смело от моего имени: вполне.

— Тогда это так же вполне — взаимно. — Он решительно, словно устыдившись, повернулся и вышел из комнаты.

Три дня спустя я позвонила Беле, представилась по телефону и пригласила их к ужину, а после, поздно ночью, мы отвезли их домой с двумя аккуратно и плотно упакованными чемоданами: шесть мужчин нашей семьи щедро одарили непутевого протезе Крлежи. Прощаясь, мы по инициативе Белы, самой смелой из нас, обнялись. Так началась наша дружба.

— Поклянемся друг другу, что подружился на всю жизнь, — сказала она, прелестно подражая голосом и детскими гримасками маленькой девочке. А мы уже трепыхались беспомощно в ее руках, мы уже знали, что дружба, если она выйдет, зависит только от нее. Как часто мне бывало жаль, с того первого вечера, несмотря на нередкие минуты радости и взаимного доверия, что сбылись мои догадки: все будет именно так, как она захочет! — но остановиться уже не могли и, кажется, не хотели.

\*\*\*

У обоих было много обаяния, у обоих большая сила притяжения и не меньшая — отталкивания. И Бела, и Крлежа были у своих родителей “единственным ребенком” со всеми особенностями таких детей: асоциальностью, эгоизмом, неуравновешенностью в отношениях с людьми, готовностью на жертвы, чтобы снискать желанную дружбу, но и жертвуя ею без зазора, по первой прихоти. Однако я забегаю вперед. Пусть



лучше жизнь за меня расскажет, какие “души Шарко”<sup>1</sup> нам предстояли в этой дружбе.

Мне кажется, что факт этой “единородности” был причиной и их склонности к бисексуализму — сильнее в Крлеже, поверхностнее в Беле, пытающейся не отставать от мужа. Но возможно, что и в отместку. Крлежа не раз доказывал нам, что все мы в большей или меньшей степени бисексуальны, что это вполне нормальное явление, аномально лишь то, что мы не догадываемся или не хотим догадываться об этом. Что на протяжении всей известной нам истории человечества гомосексуализм существовал и никому не мешал, что только два существа превратили это в разврат, распущенность и извращенность: Иисус Христос и королева Виктория. Гомосексуализм не болезнь и не извращенность, и ни за него, ни против него нельзя и даже глупо бороться. Существовал и существует — как разные глаза, разные волосы, рост и прочие особые приметы человека. Мы считали, что в этих высказываниях Крлежи только Бела могла усмотреть его гомосексуализм, только она могла игриво воскликнуть: “Посмотрите, как старик загляделся на этого юношу!”. Она считала признаком его гомосексуальности даже комплименты друзьям, вроде: “Марко (Марко Ристичу), вы напоминаете борзую своим изяществом и движениями”. Или Божидару: “Ты единственный лорд нашей скромной провинции, и кто это тебя придумал с твоей английской иронией и выдержкой, и элегантностью?! Ни малейшего признака фольклорности, как у других наших красавцев...” Он был эстетом, хотя умом не признавал и театральность Белиных вкусов, и изящество Марко, и элегантность Божидара. Эстетизм его был висцеральным, и загляделся он на юношу не с вожделием, а со зрительным, эстетическим удовольствием. Если и было что-то двуполое в этом сложном человеке, то некоторые, несомненно женские, черты: уязвимость, детская обидчивость, инстинктивное кокетство. Подлинно мужским был его мозг, чей удельный вес должен был, сдается мне, превышать обычные нормы, что порой даже вредило его творчеству.

Чтобы покончить с признаками двуполости Крлежи, скажу еще только, что мне были известны два его увлечения, оба женщинами, и в обоих случаях — по моему глубокому убеждению и его намекам — по-настоящему и увлечениями их нель-

1. По французскому врачу — доктору Шарко, лечившему нервные заболевания душием с переменной температурой.

зя было назвать, а скорее влечениями, от которых, оберегая себя, Белу и свой брак, он бежал без оглядки.

В тот наш первый вечер, о котором, по своему обыкновению, пишу зигзагами, Бела неплохо разыграла экспромтом сценку после рассказа Крлежи о нашем несостоявшемся интервью в Ленинграде.

— Ты спустил бы эту красотку с лестницы? — и обратившись ко мне: — Вы на самом деле верили, что он выставил бы вас?

Я перебила ее:

— Не надо, оставьте мне мой страх, это ведь к писателю не относится...

— Ах! Вы не любите комплиментов, устали от них?

— Возможно, но скорее всего не люблю вынужденных.

Я уже знала, в ту минуту знала, что нам предстояло вчетвером разыгрывать пьеску, в которой меня ждет роль мыши, а Бела будет кошкой, но останавливаться было уже поздно: она завладела нами и не так скоро выпустит из рук. Я знала, что Божидар думал что-то в этом же роде, потому что когда мы остались одни, он попросил меня "не бросаться в эту дружбу с закрытыми глазами". Я настаивала, чтобы он объяснил, но он отказался наотрез, хоть и сказал что-то хорошее о Крлеже: я поняла, как ему Крлежа, которого он любил как писателя, понравился. И почувствовала, что Белы он боялся, — за меня боялся. "Бела тебе не доверяет, а Крлежа со всей наивностью своей натуры очень заметно заинтригован тобою, и она тебе этого не простит..." — "А чего она может мне не простить?" — "Не заставляй меня говорить, о чем мне не хочется разговаривать. Только запомни, что жены склонны во всем обвинять других женщин".

"Bela je lukava", — сказала я по-хорватски, и мы часто вспоминали это наше прилагательное, относящееся к Беле: "lukava", повторяя его на все лады, будто лукавство было ее основной чертой. Еще помню, что Божидар сказал тогда: "Ты часто угадываешь людей с первой же встречи, но поступаешь наперекор собственному разуму и чутью. С Белой ты тягаться не можешь — это запомни. Но обаяния и остроумия у них обоих столько, что стоит отважиться на эту опасную прогулку по канату. Тренируйся в умении держать равновесие".

Бела вряд ли догадывалась о сомнениях Крлежи, о минутах его одиночества, тоски, ужаса, но точно знала опасность его самокритики. Она заглушала ее в нем — то детским восторгом, то проникновенным словом признания: он должен верить в свое абсолютное превосходство над всем и всеми! Он — такой великий и такой слабый! Как если б поэт и без чужой помощи не мучился, качаясь маятником между безверия

ем и верой в свое величие; как если б, захвалив писателя, можно отнять у него страх темноты и трудностей творческого пути с его ухабами, рытвинами, срываами?

Чудесный вечер с ними обещал сразу же и радости и опасности, а длилась наша дружба, именно со всем, что мы предвидели, без малого сорок лет. Выдыхалась она вначале медленно, постепенно, но все быстрее с годами, под конец теряя высоту. И мне одной из нас четверых, мне последней, выпала безрадостная честь прозрения и боли перебирания прошлого. Уже летом 1954 года я поняла, какие, по мнению или заблуждению Белы, перемены наступили в наших судьбах, и знала, что ущербную нашу судьбу мы несли лучше, чем Крлежи значимость своей, — у судеб, как у светил небесных, есть циклы роста и ущерба: поменявшись ролями, мы не изменились.

Когда я спросила Крлежу в письме, можно ли включить кое-что из его писем в мои воспоминания, Бела ответила: "Разорви эти истрепанные, наверное, пожелтевшие листки — они живой анахронизм. Я уверена, что Крлежа со мной согласится, — в настоящий момент его нет в Загребе. Рви все — это никому не нужно, мы не гимназистки". Но я не послушалась ее совета — в моей переписке с Крлежей не было ни малейшей угрозы их литературной нерасторжимости, как та, что связывала Абеяра и Элоизу, Арагона и Эльзу Триоле, Симону Синьоре и Монтана.

Из нашей столько лет длившейся кадрили Бела ушла вторая — в апреле 1981 года, на восемь месяцев раньше Крлежи, — пережив свой атавистический страх перед ненавистной бедностью, словно почувствовав, что куда как параднее смерть царствующей, чем жизнь вдовствующей королевы. Утопавший в цветах гроб был выставлен для прощания в вестибюле Хорватского Национального театра. Вспомнил Крлежа ее заветное желание о захоронении в костюме баронессы Каstellи из его драмы "Господа Глембаи" или дюрренматовской "Старой дамы". Устроенные им королевские похороны Белы, доказывали нам, его друзьям, на какую героическую жертву он, ярый ненавистник этого обряда, был способен, чтобы стоицей вознаградить самаритянство золотоволосой юной учительницы.

Вспоминается, как Божидар дразнил Белу из-за ее излюбленной литании:

— Что со мной будет, когда умрет Крлежа? Выбросят меня из всего этого, — медленный, усталый жест рукой, обводившей стены салона. — Дадут комнатку где-нибудь на Трешневке...

— Бела, а что если ты умрешь раньше его?

— Во-первых, я на четыре года моложе, а во-вторых, если б даже и так, ему никогда ничего прижизненно не сделают...

На это мы могли возразить, зная, что уже за пятнадцать лет до смерти Крлежи большинство будущих участников комитета по его торжественному погребению сотрудничало в составлении сборника, разносившего Крлежу посмертно. Правильно угадала Бела: ничего не сделали прижизненно. Этот сборник, по счастью, не вышел и, надеюсь, никогда не выйдет.

Марсель Пруст искал потерянное время. Андре Моруа — ненайденного Пруста. Леон Пьер-Кен шел по следам найденного, умирающего Пруста, а я ненайденного или найденного, но уже затерявшегося Крлежи. Еще в тридцатых годах мы с Пьер-Кеном искали возможность представить Крлежу французам и измучились из-за непроизносимости его фамилии по-французски:

— Пусть Карлежа или Керлежа, но не сплошные согласные. И придумают же!

— Да ведь это KYRIE ELEISON!

— Ну и что с того? В этих двух словах есть и гласные, а в Крлеже одни согласные.

— Соответственно его натуре, — сказал Божидар, но Леон не понял иронии: он ничего не знал о противоречивости натуры Крлежи, о его несовместимости с окружением, и так до конца и не понял. А кто понимал? Западные славяне и меньшего калибра, чем Крлежа, — китайская грамота для человека со стороны. Наши с Пьер-Кеном попытки познакомить с Крлежей французского читателя увенчались успехом, да и то весьма относительным, в конце пятидесятых. Упоминаю об этом сейчас, чтобы выявить активное участие в этом Пьер-Кена, несмотря на всю пассивность его натуры. Мы с Божидаром, зная щепетильность и независимость Крлежи, оставались в тени. Ни враги, ни друзья Крлежи, ни Бела, ни даже он сам не приняли бы этого заветного подарка — французский перевод его книги из наших рук. И не потому, что это именно мы, а потому, что этот успех перестал бы быть воздаянием кесарева кесарю. Это превратилось бы в еще одну из наших барских меценатских затей: "И заплатили, наверное, невесть сколько за это!" Только вот важно ли, что могли придумать провинциальные салонные сплетники или газетные писаки? Не себя мы с Божидаром оберегали, а Крлежу и его уязвимость. "Ядерной бомбой взорвались бы страсти в нашем маленьком городе Бергене, — как любил говорить Крлежа цитатой из Ибсена, — как только станет известно, что ты замешана в это". Гипертрофия и талант личности этого человека породили гипертрофию его

реакций и реакций на него. Мне кажется, что ни один из известных нам писателей не мог похвастаться большим числом врагов и поклонников, подражателей, эпигонов и желчных критиков, идолопоклонников и богохульников — огульной, почти слепой любовью и такой же огульной ненавистью.

В пятидесятых годах в Париже Божидар попросил меня перебросить продолжение моих стараний видеть Крлежу во французском переводе на писателя Петра Шегедина, занимавшего в то время должность культурного атташе в югославском посольстве. Подсказал ему эту мысль длинный разговор с Крлежей, состоявшийся в один из наших приездов в Загреб. Шегедин ревностно занялся продолжением нашей с Пьер-Кеном затеи, любя и уважая Крлежу и его отношения с ним. Для этого требовалась осторожность, даже почти военная тактика. Мой Клаузевиц, Божидар, умело руководил действиями. Препятствий было немало — ни одна крепость, кажется, не осаждалась и не завоевывалась труднее и дольше. Тут была и врожденная нерешительность Пьер-Кена, и "загорская" лень и халатность барина-крестьянина профессора Поланшчака, которого мы предложили в переводчики, и далматинская воспламеняемость Петра Шегедина, и медлительность французских издателей, и вмешательство югославской бюрократии в "такое государственное дело", как первое издание Крлежи по-французски. Замыкал этот дьявольский круг сам автор с его неукротимостью и неуступчивостью. Только в своем браке выносил он корсет почти смиренно. Ну, поорет, отпшагает с версту по квартире и притихнет...

Вспоминается столько странного и немного страшного, но и хорошего из нашей дружбы! Но когда речь о Крлеже, удельный вес чьей фигуры и речевого темперамента занимал столько места, о Крлеже, которого больше не будет, чья смерть осиротила не только его родной город, но и страну, — нельзя писать, надо вспоминать, думать его словами, напоминать их себе, чтобы сохранить его такую живую речь, такое живое слово! Оно лучше многого им написанного. Ведь этот писатель большого темперамента и большого ума не всегда умел подчинить перу свой актерский и ораторский талант; нередко его мысль вслух становилась готовым произведением, живым и блестящим, а печатное слово в большей части его творчества — в пьесах и романах особенно — было обременено умными разговорами. Его слова и словечки, его формулы и формулировки, его обороты речи освещают Крлежу ярче и всестороннее, чем его произведения. Кто не гулял вместе с ним, позволив ему, забыв о спутнике, думать вслух, тот не знал Крлежи. Он творил — все видя, все слыша, все схватывая на лету и все запечатлевая словом. Он творил голосом и мимикой...

Изредка я думала, что Крлежа отклонял от себя все житейское, все, что мешало ему в работе, а с таким подходом он не мог найти себе лучшей подружки — Бела создавала ему дом, тишину, комфорт. Но ее дурной вкус отражался и в нем — больше всего в пьесах, где сквозит чрезмерность Белы или в лучшем случае — неумеренность. Читая вслух новые страницы, Крлежа по ее реакциям или даже советам сгущал краски — и его герои становились больше натуральной величины. Такой была и Белина игра — на сцене и в жизни. Крлежа знал, что она посредственная актриса, но хотел, чтобы друзья закрывали глаза на дилетантизм ее игры, правда постепенно сменявшийся вполне профессиональной рутинной.

— У тебя есть твоя адвокатская контора, — как-то сказал он Божидару, — в которой ты хозяин, а я никогда по сей день не был хозяином ничего, кроме того, что выдумываю. Начал я жизнь в скоромнейшей обстановке, с переездами родителей с квартиры на квартиру — отец был маленький городской чиновник... С Белой мы начали жизнь на чужой узкой железной кровати, о которой вы достаточно слышали, в чужой квартире, где все чужое, кроме, — повернувшись ко мне: — Ну-ка, Ирина, кроме...

— Кроме золота ее волос.

— Видишь, Боксо, поэты узнают друг друга по тикам и бзикам, по собственным фантазмагориям, идиосинкрзиям... Ирина могла бы стать поэтом, если б не была Ириной, а что ты ей сказал? Черта с два ты ей что-либо сказал! Я бы разогнал всю ее благотворительную лавочку с художниками и остальными протеже и приказал бы ей заботиться о собственных способностях, а не искать их там, где их нет или есть, но так мало, что не стоит на них время тратить. Не учи ты меня мужней храбрости — все мужья трусы: ложь — единственная монета, за которую можешь купить покой.

Это почти точная передача нашего разговора, некогда записанного, но не как взнос в сберегательную книжечку дневника (копить я не умею), а запись чего-то поразившего меня, над чем надо было после задуматься.

Я не впервые в жизни стою в недоумении перед загадкой сфинкса, имя которого Мирослав Крлежа. Загадка его таланта и промахов, его ума и наивности, его всеобщего признания на родине и неприятия вне ее границ, его пронизательности и слепоты, его доброты и несправедливости, его бунтарства и нередких *capitulations de conscience*<sup>1</sup>, его общи-

1. Сделка с совестью (*франц.*).

тельности и замкнутости в себе — весь он со всеми своими противоречиями и контрастами производил впечатление растерзанности, гибридности.

Это медвежье туловище с тяжелой головой и чудесными глазами, такими умными, ласковыми, всепонимающими, такими выразительными... живой он стоит передо мной, и я, забыв все трудности и минуты обиды, с пудом грусти в сердце прощаюсь с этим необыкновенным человеком, память о котором мне так хотелось бы оставить после себя, но страшно, что нет у меня силы слова, адекватной силе моих чувств: проторопилась всю жизнь, бегом ее пробежала!

Первая и самая трудная загадка Крлежи — для меня лично — почему такой большой и трудолюбивый писатель дал сравнительно мало (не набрасывайтесь на меня ни разъяренные хвалители, ни завистливые хулители! я своей правды в могилу не унесу!) цельных произведений, кроме... А перечень этих “кроме” далеко отстает от полусотни томов его опусов. И чем больше объем тома, чем сложнее фабула и умнее герои, тем труднее назвать его художественно большим, всколыхнувшим читателя, захватившим и державшим его от начала до конца. “Знамена” — роман, который считается теперь монументальным произведением, не монолит — глыба. Слишком подробная хроника страны, в которой Крлеже суждено было родиться. Возможно, что эта “ересь” мне не простится — меня потащат за нее на костер, живую или мертвую. Цельным я считаю его “Хорватского бога Марса”, “Похороны в Терезиенбурге”, другие повести и рассказы и, конечно, “Баллады Петрицы Керемпуха”. Эти баллады очаровали меня с первых же строф, и я сердилась, когда кто-нибудь иронизировал: “К чему этот тур-де-форс — средневековый жаргон, которого даже сами хорваты часто не понимают”. Я защищала их — Крлежу и Петрицу: “Недопустимо в искусстве только окаменение, застой!” — “А этот возврат в несуществующее прошлое, по-вашему, новизна?” — “Несомненно! Автор не копирует прошлое, а взял только его строительный материал, да и то употребив его по-своему. Если б писали только для тех, кто хочет все понять, а понимает только то, чему в школе научили, не было бы ни Джойса, ни Хлебникова, ни Пикассо...” В прозе Крлежи я часто путаюсь в собственных противоречивых суждениях, но и в его длиннотах, полемических отступлениях — в том, что художник Хегедушич, друг наших двух “кланов” до знакомства, называл “Крлежиной кланфариадой” по имени часто появляющегося героя Кланфара. Герои его романов становятся не живыми людьми, а живучими понятиями, вошедшими в речевой оборот. Они восхищают и раздражают. Раздражает неред-

ко и Достоевский, но его книгу не можешь отбросить, тут же забыв Настасью Филипповну, князя Мышкина, Алешу, Федора, Сонечку, Раскольникова. Это живые люди — страдальцы и мучители, жертвы и палачи! Даже Фома Фомич, даже Лебедев — даже худшие из них — человечны в смысле: люди, не марионетки. Их видишь во всех измерениях — слабости, зле, мерзости. Крлежины герои не показаны, а рассказаны: Крлежа за них говорит, двигает руками, кланяется публике, бьет, бросается в объятия — он держит все их веревочки в своей маленькой белой руке. Иногда думаешь с досадой или жалостью: редактора бы ему хорошего! ведь такого талантливого писателя, как Томас Вульф, не только его перо создало, но и редактор. Работая с ним ночи напролет, спас его опус от полной анонимности, к которому этот американский Крлежа был несомненно приговорен своей неумеренностью. От одного из первых романов Томаса Вульфа осталась половина написанного, зато целая и цельная! Такого редактора в Югославии не было, Крлежа сам себе и редактор, и собственный литературный предок, сам себе язык создал, форму, место под солнцем...

Второго Мирослава Крлежу Югославия еще не родила и долго, боюсь, не родит: он был своим собственным родоначальником.

Если “Баллады Петрицы Керемпуха”, этот франсуа-вийоновский, трубадурский эпос, — лучшее из его поэтического наследия, лучшее в его прозе — “Хорватский бог Марс“, сборник рассказов о Первой мировой войне. Правда, та окопная, траншейная, бесконечная война дала немало талантливых авторов одной книги. Бредовый кошмар разорванных гранатами, разбросанных тел и уцелевших, но растерзанных жизнью молодые “волосатые“ — “пуалю“<sup>1</sup> — претворили в горячее творчество: писали не чернилами, а кровью, негодованием, проклятиями, клятвой: “Никогда больше! Эта война последняя!”. А что дала вторая? Обогастила арсенал и фармакологию — науку убийства и науку лечения. Начала за здоровье, кончила за упокой: атомной бомбой и роботами. После первой можно было проклинать смерть и воспевать жизнь, после второй пришлось проклинать жизнь и воспевать смерть.

Крлежа в окопах не валялся — не успел; арестованный за дезертирство в Сербию из австро-венгерского военного училища “Людовицеум“, был схвачен на границе, сидел в тюрьме. Но жалостью и бородой там оброс, как большинство из его поколения, и писать начал запоем, как все. И в каждом

1. Французские солдаты в Первой мировой войне.



его томе, а их более полусотни, оставил замечательные страницы. Отжать бы их! Какое бы чудесное, крепкое вино получилось! Вот уже слышу злорадное улюлюканье хранителей национального достояния: “Kako smije ova ruska dotepenka dirati u našu književnost?”<sup>1</sup> Орите, мне все равно: чего мне теперь бояться, все потеряв, главное — всех? Нет, мне будет все равно, когда кто-нибудь отважится, наперекор запретам, печатать мои воспоминания. При жизни я все-таки немного вас боюсь: не слов ваших, не брани — привыкла? Отвыкла?.. Я у Крлежи не в долгу; я ни в чем у них двоих не в долгу, кроме нескольких хороших часов дружбы, если отжать их от всего лишнего. Вы, а не я его должники — платите ему хотя бы посмертной хвалой за все украденные у него слова, обороты, страницы. Разворовали его опус оптом и в розницу — читаешь и жалеешь, что Крлежу мог обокрасть даже не обладающий проворством рук литературный воришка. Платите ему запоздалые проценты за украденный у него капитал! В мире мало писателей, поработивших своей фразой, зачаровавших, как заклинатель крыс своей флейтой, большее число пишущих. Чудовищное, массовое заболевание Крлежей свирепствовало во всех отраслях печатного слова в Хорватии и понемногу во всей стране. Сколько раз Крлежа, смеясь, бросал на стол какую-нибудь книгу или статью со словами: “Опять меня обокрали!”

Больше Крлежи только еще Ахматова и Маяковский так всецело владели вкусом начинающих писателей и наплодили столько подражателей. Ахматова, насколько помню, относилась к этому с безразличием: королевской короны с нее не снимут — не дотянутся! Маяковский же и в прозе, и в стихах взывал: “Довольно вам делать под Маяковского, делайте под себя!” Крлежа пожимал плечами. Только раз, помню, рассердился на близкого друга и очень талантливого писателя, сказал: “По существу я должен гонорар с него потребовать, это уже не подражание, а преемственность, посмотри, Боксо, ты юрист”. Хлесткость, полемичность, вперемешку с лиризмом, его фразы прилипали к памяти, как мокрые осенние листья, как припев, от которого не можешь отделаться.

Крлежа — очень большой писатель для маленькой страны, у которой было трудное и часто подневольное прошлое, и, чтобы писать в ней и о ней, надо выхаркать столько же крови, сколько она сама потеряла на протяжении своей более чем тысячелетней истории.

1. “Как смеет эта приبلудная русская лезть в нашу литературу?”

Приближенный властью придворный поэт все же может остаться Поэтом, и Крлежа не перестал быть Крлежей, и ему, поди, поначалу трудно было. Власть имущие (не Сам, упаси Боже, для Тито Крлежа не был щенком) все норовили его носом в собственную лужу тыкать, чтобы научился ковров не пачкать. Социалистический ковер.

Крлежа как раз накануне войны некстати стал на сторону коммунистических еретиков, сунул голову не в лужу, а в львиную пасть. А партия тоже некстати в конце 30-х годов пошла на еретиков войной. Крлежа не мог примкнуть к партизанскому движению — то есть перебежать из Хорватской Независимой фашистской республики в лес или горы, к партизанам с Тито во главе. Это было бы равносильно тому, что называется из огня да в полымя. Хорошо зная Крлежу, мы с Божидаром понимали, что не огня он боялся — подсудности, где защищаться надо, каюсь в своем уклоне, бить себя в грудь и молить не о пощаде, а о наказании, повторяя, как одержимый: “Mea culpa! Mea ultima culpa!”. Скульптор Августинчич нам после войны рассказывал, горько качая головой, как он, по требованию Тито, два раза с опасностью для собственной жизни в Загреб пробирался с наказом привести Крлежу, но оба раза вернулся с пустыми руками. Еще кто-то, помню, тоже с этой миссией провалился. А две-три сановные личности корили нас с Божидаром этим другом, который войну просидел “в тепле под защитой фашистских вождей”. И как мы ни бились, не могли их разубедить — мы-то ведь знали, как Крлежа плохо и опасно жил! Спасал его гимназический товарищ Божидача, доктор психиатрии Джуро Вранешич, вырвавший Крлежу из когтей фашистской полиции как опасного больного, психически нездорового, которого он должен держать в своей клинике. Даже при фашизме удалось Вранешичу спасти человека, да какого! А Крлеже не удалось спасти Вранешича от расстрела, как ни старался.

Большая часть левой интеллигенции Хорватии крлежианского уклона в предвоенные годы раскололась на два лагеря: связанных узами партийной идеологии, жаждущих расправы с Крлежей и крлежианцев, еретиков. Появись Крлежа в 1942-м или 43-м среди партизан — не одна нашлась бы рука, готовая взвести курок на Крлежу, считавшегося идеологом ереси.

Поэт остается поэтом и в роли Тайного советника при Веймарском дворе, и в камер-юнкерской при Российском. Тито своего величия не обременил комплексом неполноценности, подобно Сталину, и это спасло Крлежу, но какую-то долю своего привлекательного бунтарства он, конечно, потерял. Однако именно тогда он начал гигантский труд издания и ре-

дактирования энциклопедии. И где только время находил? Реабилитация Крлежи способствовала Белиному восходу. Она быстро стала, по крайней мере в собственных глазах, Второй Дамой страны, не ведая, что старый русский табель о рангах нигде не соблюдается набожнее, чем при коммунизме. Достаточно взглянуть на шествие по коридорам ООН советской делегации, чтобы сказать себе: как в футболе! — у каждого свое место!

В 1936 году я познакомилась с загадкой, именуемойся Мирославом Крлежей, а в дни декабря 1981-го, когда я пишу эти воспоминания, я все еще не разгадала этой загадки, этот riddle, эту головоломку, его творческую силу и непростительные срывы, огульное прятие его и такое же оттолкновение, особенно за пределами его родины — как если б он жил и творил не в сердце Европы, а в умом непостижимой глуши. Ни один из переводов его даже на славянские языки не принят.

Крлежа-писатель и Крлежа-человек были и остались для меня загадкой. Ребус. Треугольники, квадратики, ромбики, кружочки, взрывы гнева и взрывы нежности, пронизательность и слепота — составляешь, пригоняешь, гадаешь: где он настоящий? Какой он? Так, или очень похоже, составляла я образ Крлежи в течение многих лет, но удалось мне это только частично. Конечно, я знаю все о нем, и голос его слышу отчетливо, и обаяние его подчас изысканных манер, и грубые его выходки, его раздражительность, несправедливость, нетерпимость, нетерпение и искренность его раскаяния — все его реакции... стою, ошеломленная перед каждым его поступком. Он мог бросить, например, мой очерк о нем на стол с коротким приговором:

— Еще один слепой критик! Почему ты перестала писать стихи? Поэту ум меньше нужен.

— Но я не могу использовать свою глупость для блага поэзии по твоему приказу. И за кого я должна обидеться, неясно — за поэзию или за себя?

— За кого хочешь, но, чтобы писать обо мне, нужно больше знать об этой стране.

— Не приговариваешь ли ты себя к пребыванию на местном литературном рынке?

— Я не товар!

— Но и не фольклорная игрушка, и отнять у твоего труда универсальность равносильно суровому приговору.

Мы никогда в этом пункте не могли столкнуться. Всех его противоречивых ответов не помню, тем более что большинство из них были остроумными софизмами — не больше. Кро-

ме того, они обижали меня постоянным оспариванием моего права судить об их проблемах.

Иногда мой аргумент был: "Французская провинция доступнее пониманию, чем содержание бывшего австро-венгерского котла, где на медленном огне, подобно национальному гуляшу, варились веками всевозможные ингредиенты".

Крлежа менял тему или отходил в сторону. Он прощал мне немного больше, чем другим, часто его доброжелательность, как и его недружелюбность, была необъяснима. Большинство людей он считал, не без основания, недостойными спора с ним, и их мнение о нем его не интересовало, но причиной тому была не мания величия, а скука. Раз, помню, когда он снова сказал, правда, ласково: "Ты этого не понимаешь", я ответила: "Неужели ты считаешь ваших национальных писак более знающими и посему достойными права суждения о тебе? При этом я не раз слышала от тебя, что все они, или почти все, дураки и неучи". — "Не вызывай меня на комплименты — ты достаточно ими и мною избалована! Где моя шляпа! Ухожу!"

Мне иногда жаль, что я не "La Petite Dame" Андре Жида, записывавшая чуть ли не каждое слово Мэтра — кто-кто, а уж Крлежа был и блестящим собеседником, и одним из тех писателей, у которых изустное слово живет и, боюсь, даже живучее написанного. Одно мое спасение — память, жадно берегущая все, поразившее мое воображение. Но есть и у меня клочки бумаги с записями, вырванные странички уничтоженных дневников. Вот нашла одну: "У Крлежи нет чувства меры — последнее это или причина его чрезмерности, еще не установила. На словах это неодолимо — не человек, а гипербола, остроумнейшая метафора! И гениальный актер, а в творчестве много речие, ненужные длинноты, риторичность. И вкус у Крлежи не очень хороший, а по временам даже дурной, и неумение, или нежелание, выбросить хоть строку, подавно страницу или больше, если нужно. Сколько им написанного было бы неизмеримо сильнее, если бы поработать ножницами! Это мы, маленькие писатели, смеем не видеть, или не сразу видеть нужное, а большой и такой талантливый и плодовитый, как Крлежа, должен уметь полоть свой сад старательно и неутомимо". Нашла такую запись: "Перечитала крлежиного 'Гроссмейстера подлости', где все его способности, а вернее особенности, налицо. Длинноты, полемика, барочность стиля, марионеточность фигур... рядом подлинная человеческая жалость... читаешь, гадаешь, ищешь и приходишь к печальному выводу: неживая словесная сатира. Столько пометок сделала на полях, что даже книгу жаль стало, начала стирать". А теперь и об этом жалею — пригодились бы тогда записанное, своевременное. Вот

писатель, думала я тогда (и думаю теперь, переписывая эту запись и перечитав снова эту новеллу), которого восхваляют даже враги — на родине, но по сей день не признали даже друзья за ее пределами. Один австрийский издатель взялся издать на немецком всего Крлежу, но, труда своего не завершив, покончил самоубийством, — а было это в разгар его совместной с Крлежей работы и очень тесной дружбы. Почему Стиасни (так звали издателя) покончил самоубийством, вероятно, никто никогда не узнает, но достовернее других кажется мне версия, что он обанкротился, израсходовав на издание несравненно больше, чем обеспечивала подписка. Так, Крлеже не суждено было даже в провинциальном Граце приняться — в тихом австрийском городке, где издатель — юрист и барин — открыл ему дорогу в немецкую переводную литературу.

Еще записка: "Барочность его стиля со всеми перегруженностями, свойственными Крлеже, так же неожиданна рядом с бунтарством его духа, как маленькие белые руки и ноги, угодившие на это грузное туловище". Много нашла, но выбросила, боясь, что попадетя в руки кому-нибудь, кто использует мои сомнения и оценки, а я за их правильность и непреложность и самой себе не отвечаю. Тем более что со всеми отрицаниями и порицаниями Крлежи считаю его большим писателем, может быть, даже правильнее сказать: большим явлением, альпийской вершиной над низинами Паннонии. И пусть живет этот неукротимый талант и после него — уже под мраморной доской! Пусть не перешел родные границы, "весь он не умрет", как не умер Пушкин — непереведенный.

Все мы клубки противоречий, непоправимо спутанные, но не все сознаем общность ответственности. А каково Крлеже? Играя глиной, судьба вылепила фигуру, не учитывая ничего: ни уготованное для нее пространство, ни сравнительных пропорций с окружением. Забыла все, кроме гигантизма своего замысла. Если жить на виду, участь каждого значительного писателя в маленькой среде — подчас кошмар. Тут все преувеличено, все перспективы смешаны, гордость каждым его успехом идет в ногу со злорадством его малейшего поражения; каждый его поступок, каждое его слово обсуждаются за столиками кофеен и на ночных перекрестках, где так любят постаивать, судить и рядить в темноте провинциальные интеллигенты.

Сартр, Жид, Арагон, Мальро, Жюль Ромэн, Мориак, Мартен дю Гар могут заблуждаться — менять вехи и любовниц, друзей и кофейни, а Крлежа шага ступить не мог, не сопровождаемый взорами не только города — страны. Он был обне-

сен высокой стеной обожания и ненависти, ревности, зависти, но он был не состоянием страны, чем, по существу, и был, а ее достоянием. И грузность этой коренастой и мешковатой, но легкой в движениях фигуры, и эти маленькие белые руки и несоответствующие телу узкие небольшие ступни, и эта большая, рано полысевшая голова с выразительным, полным обаяния не очень красивым лицом, и этот неукротимый, недисциплинированный, даже необузданный талант и такой же ум; строптивый, очень трудный и такой же неожиданно нежный и покорный характер, и резкость, и сердечность, и почти церемонная, почти великосветская вежливость, чередующаяся с грубостью; и работоспособность, и эрудиция, где аподиктичность иногда пополняла пробелы и промахи, — все в нем было чрезмерно, с излишком, весь он был слишком большой, переливающийся через край родной провинции, но почему-то не перелившийся, как если бы сами его провинциальные границы ревниво удерживали его. А ведь куда меньшие, чем Крлежа, писатели выходили далеко за пределы своей родины — румыны, чехи, латиноамериканцы. И Музиль вышел из провинции. И даже карьерой и судьбой с Крлежей схож! Музиль именно заставил меня отбросить одну из догадок, что недавнее австро-венгерское гарнизонное прошлое Хорватии опровинциало ее. Еще говорила себе: Крлежа родился поэтом, а судьба взялась лепить из него универсального гения, но переборщила. Он принял сан. Нечистый некстати подстрекал его, нашептывая: "Тебе твой сан дороже должен быть всех радостей, всех обольщений жизни". Однако даже с пристрастностью друзей и во власти обаяния его личности мы с Божидаром не считали его ни большим драматургом, ни большим романистом, но во всех его произведениях находили полемический и риторический ум. Вспоминали слова Е. И. Замятина об опасности большого ума для творчества. И буквально преклонялись перед талантом Крлежи-рассказчика. Изустного — тут не о пере и бумаге речь. В этом мы были уверены оба, как и в том, что и сам Крлежа признавал иногда гипертрофию своей личности и сана, но отбрасывал от себя все сомнения, как и догадку о противоречиях, в которых барахтался.

Мы понимали, как часто ему бывает не по себе в этой его новой, сановой, но нередко постылой жизни. Мы вспоминали иногда в глуши нашего швейцарского одиночества, как в тот или иной наш приезд в Загреб он словно порывался сказать нам с гневом в голосе: "Мне все это не нужно! Не смотрите по сторонам! Все это Беле в угоду! Она заслужила — вы знаете, какую нищету она приняла со мной..." Не сказал. Ничего

не сказал. Его сановные годы в революционной Югославии, дружба с Тито — большим поклонником его таланта, знаний и остроумия, Тито-эпикуреец ценил больше всего), декоративный и доброкачественный уют квартиры — это было именно то, что любит, к чему быстро привыкает, но чего всю жизнь стыдится перед своими старыми друзьями молодая куртизанка из старых романов. Писать! Работать не покладая рук! Создать как можно больше для этой страны! Поднять уровень Академии Наук (было бы правильнее — ее значения, ведь уровня оптовым набором академиков не повысишь); основать лексикографию, издавать энциклопедию, пересмотреть прошлое с точки зрения настоящего, о котором почему-то в прошлом легче было писать как о будущем... оказавшемся не похожим на былые мечты о нем! Что нужды донкихотствовать? — мир не переделаешь, а когда и думаешь, что перестроил, дьявол в тебе переспросит: "Ты веришь, что перестроил?" — "Почти!" — ответишь, и это проклятое "почти" — величайшая ложь самому себе. Это невод, заброшенный поэтом, в котором запутались песчинка, ракушка, корюшка, легко пролезающие в сеть, все такое мелкое... Убогий улов мечтателя...